

Алексей Митрофанов
Большая Лубянка

Прогулки по старой Москве



Алексей Митрофанов

**Большая Лубянка.
Прогулки по старой Москве**

«Издательские решения»

Митрофанов А.

Большая Лубянка. Прогулки по старой Москве /
А. Митрофанов — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-856711-7

Название «Лубянка», фактически, приватизировано органами безопасности. Достаточно просто сказать «Лубянка», и сразу всем понятно: органы госбезопасности. Говорим «Лубянка», подразумеваем «органы». Можно подумать, кроме них тут никогда и ничего не наблюдалось. Нет, наблюдалось, и притом в большом количестве. Чему, собственно, и посвящена эта книга.

ISBN 978-5-44-856711-7

© Митрофанов А.
© Издательские решения

Содержание

Пыточная	6
Конец ознакомительного фрагмента.	15

Большая Лубянка Прогулки по старой Москве

Алексей Митрофанов

© Алексей Митрофанов, 2017

ISBN 978-5-4485-6711-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Название «Лубянка», так уж получилось, фактически приватизировано органами госбезопасности. Ведь достаточно просто сказать «Лубянка», и сразу же всем понятно: органы госбезопасности. Говорим «Лубянка», подразумеваем...

Не то чтобы удивляет, все-таки органы эти обосновались тут очень давно, но все равно несправедливо. Можно подумать, кроме них тут вовсе никогда ничего не наблюдалось.

Наблюдалось. Притом в большом количестве. Чему, собственно, книга и посвящена.

И, разумеется, мы, как всегда, не ограничимся одной Лубянкой. Ведь за ней – не менее интересная Сретенка, далее – проспект Мира (бывшая Первая Мещанская), а там, глядишь, и до Лосинового острова рукой подать.

Москва, на самом-то деле, город маленький.

Пыточная

Дом страхового общества «Россия» (Большая Лубянка, 2) построен в 1898 году по проекту архитектора А. Иванова.

В начале Лубянки, там, где сейчас сквер перед Политехническим музеем, некогда располагалось учреждение благотворительное. Газеты нередко помещали анонсы: «Одно из выдающихся развлечений для подростков будет открыто в помещениях бельэтажа громадного дома, что на Лубянке, принадлежащего Императорскому человеколюбивому обществу, заново перестроенного и отделанного.

Гулянья эти откроются с 26 декабря «елкой» в волшебных чертогах «дедушки мороза».

Посредине первой залы дедушка мороз будет изображен сидящим в сугробе снега; в руках своих он держит роскошную елку. Стены залы изображают картину зимы, в снежных сугробах виднеются гроты из мира сказок.

Во втором зале находится театр «королевы льдов» (то есть Снегурочки – АМ), представления в нем будут давать из мира сказок, приспособленных для детского возраста.

Третий зал представляет мир игрушек, «Диво-город»; декорация зала изображает город с постройками из карт, домино и шахмат, вдали бассейн с плавающими игрушечными кораблями, у городских ворот стоят на карауле деревянные солдатики, через ворота вход в роскошный детский буфет, тут и детские игры под руководством наставниц.

В трех залах изображается Венеция во время карнавала, они роскошно иллюминированы и предназначены для танцев и бала ряженных.

Концертная зала изображает фантастическое богатство; играет оркестр музыки и дает представление фокусник».

Пушкин как-то иронизировал: дескать, названием более странным, чем «московский Английский клуб», может быть лишь «Императорское человеколюбивое общество». А когда Пушкин забыл вовремя уплатить членские взносы и от него, чтобы восстановиться в клубе, потребовали штраф, он написал своей супруге: «...В клубе я не был, чуть ли не исключен, ибо позабыл возобновить свой билет. Надобно будет заплатить 300 рублей штрафа, а я весь Английский клуб готов продать за 200 рублей».

Тем не менее, Александр Сергеевич бросился искать нужную сумму, нашел и в клубе все-таки восстановился. Видимо, что-то все же привлекало самого известного поэта государства в тех «орангутангах».

Так же и с обществом, человеколюбивым. Не было оно зловещим и коварным. Напротив, занималось человеколюбивыми акциями.

* * *

При Петре Великом здесь, на территории Рязанского подворья, действовала Тайная канцелярия. При Екатерине II – тайная экспедиция, в которой заправлял Степан Шешковский – личность полулегендарная, и не сказать, чтоб очень светлая. Славился тем, что сам любил хлестать кнутом подследственных. И хлестал – и Пугачева, и Радищева, и Новикова.

Департамент Шешковского был ликвидирован только при Александре. И в начале девятнадцатого века в здании Рязанского подворья нашли пристанище организации благотворительные – психиатрический и инвалидный приюты. Место как будто бы замаливало свою лихую славу. Но время от времени старина проступала. Вот одно из описаний бывшей «пыточной», составленное ближе к концу девятнадцатого века: «Мне пришлось быть у одного из чиновников, жившего в этом доме. Квартира была в нижнем этаже старинного трехэтажного дома, в низеньких сводчатых комнатах. Впечатление жуткое, несмотря на вполне приличную семей-

ную обстановку средней руки; даже пара канареек перекликалась в глубокой нише маленького окна. Своды и стены были толщины невероятной. Из потолка и стен в столовой торчали какие-то толстые железные ржавые крючья и огромные железные кольца. Сидя за чаем, я с удивлением оглядывался и на своды, и на крючья, и на кольца.

– Что это за странное здание? – спросил я у чиновника.

– Довольно любопытное. Вот, например, мы сидим в той самой комнате, где сто лет назад сидел Степан Иванович Шешковский, начальник тайной экспедиции, и производил здесь пытки арестованных. Вот эти крючья над нами – дыбы, куда подвешивали пытаемых. А вот этот шкафчик, – мой собеседник указал на глубокую нишу, на деревянных новых полочках которой стояли бутылки с наливками и разная посуда, – этот шкафчик не больше не меньше, как каменный мешок. Железная дверь с него снята и заменена деревянной уже нами, и теперь, как видите, в нем мирно стоит домашняя наливка, которую мы сейчас и попробуем. А во времена Шешковского сюда помещали стоймя преступников; видите, только аршин в глубину, полтора в ширину и два с небольшим аршина в высоту. А под нами, да и под архивом, рядом с нами – подвалы с тюрьмами, страшный застенок, где пытали, где и сейчас еще кольца целы, к которым приковывали приведенных преступников. Там пострашнее. Уцелел и еще один каменный мешок с дверью, обитой железом. А подвал теперь завален разным хламом.

В дальнейшей беседе чиновник рассказал следующее:

– Я уже сорок лет живу здесь и застал еще людей, помнивших и Шешковского, и его помощников – Чередина, Агапыча и других, знавших даже самого Ваньку Каина. Помнил лучше других и рассказывал мне ужасы живший здесь в те времена еще подростком сын старшего сторожа того времени, потом наш чиновник. При нем уж пытки были реже. А как только воцарился Павел I, он приказал освободить из этих тюрем тайной экспедиции всех, кто был заключен Екатериной II и ее предшественниками. Когда их выводили на двор, они и на людей не были похожи; кто кричит, кто неистовствует, кто падает замертво...

На дворе с них снимали цепи и развозили кого куда, больше в сумасшедший дом... Потом, уже при Александре I, сломали дыбу, станки пыточные, чистили тюрьмы. Чередин еще распорядился всем. Он тут и жил, при мне еще. Он рассказывал, как Пугачева при нем пытали, – это еще мой отец помнил... и Салтычиху он видел здесь, в этой самой комнате, где мы теперь сидим... Потом ее отсюда перевезли в Ивановский монастырь, в склеп, где она тридцать лет до самой смерти сидела. Вот я ее самолично видел в Ивановском монастыре... Она содержалась тогда в подземной тюрьме, выглядывала сквозь решетку, в окошечко, визжала, ругалась и плевалась на нас. Ее никогда не отпирали, и еду подавали в это самое единственное окошечко. Мне было тогда лет восемь, я ходил в монастырь с матерью и хорошо все помню...»

Такие дела.

Бывал здесь и вездесущий Гиляровский: «Возвращаюсь я по Мясницкой с Курского вокзала домой из продолжительной поездки – и вдруг вижу; дома нет, лишь груда камня и мусора. Работают каменщики, разрушают фундамент. Я соскочил с извозчика и прямо к ним. Оказывается, новый дом строить хотят.

– Теперь подземную тюрьму начали ломать, – пояснил мне десятник.

– А я ее видел, – говорю.

– Нет, вы видели подвальную, ее мы уже сломали, а под ней еще была, самая страшная: в одном ее отделении картошка и дрова лежали, а другая половина была наглухо замурована... Мы и сами не знали, что там помещение есть. Пролом сделали, и наткнулись мы на дубовую, железом кованую дверь. Насилу сломали, а за дверью – скелет человеческий... Как сорвали дверь – как загремит, как цепи звякнули... Кости похоронили. Полиция приходила, а пристав и цепи унес куда-то.

Мы пролезли в пролом, спустились на четыре ступеньки вниз, на каменный пол; здесь подземный мрак еще боролся со светом из проломанного потолка в другом конце подзем-

ля. Дышалось тяжело... Проводник мой вынул из кармана огарок свечи и зажег... Своды... кольца... крючья...

Дальше было светлее, свечку погасили.

– А вот здесь скелет на цепях был.

Обитая ржавым железом, почерневшая дубовая дверь, вся в плесени, с окошечком, а за ней низенький каменный мешок, такой же, в каком стояла наливка у старика, только с каким-то углублением, вроде узкой ниши.

При дальнейшем осмотре в стенах оказались еще какие-то ниши, тоже, должно быть, каменные мешки.

– Я приду завтра с фотографом, надо снять это и напечатать в журнале.

– Пожалуйста, приходите. Пусть знают, как людей мучили. Приходите.

Я вышел на улицу и только хотел сесть на извозчика, как увидел моего товарища по журнальной работе – иллюстратора Н. А. Богатова.

– Николай Алексеевич, есть у тебя карандаш? – останавливаю его.

– Конечно, я без карандаша и альбома – ни шагу. – Я в кратких словах рассказал о том, что видел, и через несколько минут мы были в подземелье.

Часа три мы пробыли здесь с Богатовым, пока он сделал прекрасную зарисовку, причем десятник дал нам точные промеры подземелья. Ужасный каменный мешок, где был найден скелет, имел два аршина два вершка вышины, ширины – тоже два аршина два вершка, а глубины в одном месте, где ниша, – двадцать вершков, а в другом – тринадцать. Для чего была сделана эта ниша, так мы и не догадались».

* * *

К рубежу двух веков – прошлого и позапрошлого – лубянское домовладение подошло в самом что ни на есть миролюбивом виде. Владимир Гиляровский так его описывал: «В девяностых годах прошлого столетия разбогатевшие страховые общества, у которых кассы ломились от денег, нашли выгодным обратить свои огромные капиталы в недвижимые собственности и стали скупать земли в Москве и строить на них доходные дома. И вот на Лубянской площади, между Большой и Малой Лубянкой, вырос огромный дом. Это дом страхового общества «Россия», выстроенный на владении Н. С. Мосолова.

В восьмидесятых годах Н. С. Мосолов, богатый помещик, академик, известный гравер и собиратель редких гравюр, занимал здесь отдельный корпус, в нижнем этаже которого помещалось варшавское страховое общество; в другом крыле этого корпуса, примыкавшего к квартире Мосолова, помещалась фотография Мебиуса. Мосолов жил в своей огромной квартире один, имел прислугу из своих бывших крепостных. Полгода он обыкновенно проводил за границей, а другие полгода – в Москве, почти никого не принимая у себя. Изредка он выезжал из дому по делам в дорогой старинной карете, на паре прекрасных лошадей, со своим бывшим крепостным кучером, имени которого никто не знал, а звали его все «Лапша».

Против дома Мосолова на Лубянской площади была биржа наемных карет. Когда Мосолов продал свой дом страховому обществу «Россия», то карету и лошадей подарил своему кучеру и «Лапша» встал на бирже. Прекрасная запряжка давала ему возможность хорошо зарабатывать: ездить с «Лапшой» считалось шиком.

Мосолов умер в 1914 году. Он пожертвовал в музей драгоценную коллекцию гравюр и офортов, как своей работы, так и иностранных художников. Его тургеневскую фигуру помнят старые москвичи, но редко кто удостоивался бывать у него. Целые дни он проводил в своем доме за работой, а иногда отдыхал с трубкой на длиннейшем черешневом чубуке у окна, выходящего во двор, где помещался в восьмидесятых годах гастрономический магазин Генералова.

При магазине была колбасная; чтобы иметь товар подешевле, хозяин заблаговременно большими партиями закупал кишки, и они гнили в бочках, распространяя ужасную вонь. По двору носилась злющая собака, овчарка Енотка, которая не выносила полицейских. Чуть увидит полицейского – бросается. И всякую собаку, забежавшую на двор, рвала в клочья.

В соседнем флигеле дома Мосолова помещался трактир Гусенкова, а во втором и третьем этажах – меблированные комнаты. Во втором этаже номеров было около двадцати, а в верхнем – немного меньше. В первый раз я побывал в них в 1881 году, у актера А. Д. Казакова.

– Тут все наши, тамбовские! – сказал он.

Мосолов, сам тамбовский помещик, сдал дом под номера какому-то земляку-предпринимателю, который умер в конце восьмидесятых годов, но и его преемник продолжал хранить традиции первого.

Номера все были месячные, занятые постоянными жильцами. Среди них, пока не вымерли, жили тамбовские помещики (Мосолов сам был из их числа), еще в семидесятых годах приехавшие в Москву доживать свой век на остатки выкупных, полученных за «освобожденных» крестьян».

Надо сказать, гостиница обескураживала даже выдавшего виды «короля репортеров»: «Оригинальные мебелишки! Узенькие, вроде тоннеля, коридорчики, со специфическим «номерным» запахом. Коридорные беспрерывно неслышными шагами бегали с плохо лужеными и нечищеными самоварами в облаках пара, с угаром, в номера и обратно... В неслышной, благодаря требованию хозяина, мягкой обуви, в их своеобразной лакейской ловкости движений еще чувствовался пережиток типичных, растленных нравственно и физически, но по лакейской части весьма работоспособных, верных холопов прежней помещицкой дворни.

И действительно, в 1881 году еще оставались эти типы, вывезенные из тамбовских усадеб крепостные. В те года население мебелишек являлось ни чем иным, как умирающей в городской обстановке помещицкой степной усадьбой. Через несколько лет они вымерли – сначала прислуга, бывшая крепостная, а потом и бывшие помещики. Дольше других держалась коннозаводчица тамбовская Языкова, умершая в этих номерах в глубокой старости, окруженная любимыми собачками и двумя верными барыне дворовыми «девками» – тоже старухами... Жил здесь отставной кавалерийский полковник, целые дни лежавший на диване с трубкой и рассылавший просительные письма своим старым друзьям, которые время от времени платили за его квартиру.

Некоторым жильцам, тоже старикам, тамбовским помещикам, прожившимся догола, помогал сам Мосолов.

Понемногу на место вымиравших помещиков номера заселялись новыми жильцами, и всегда на долгие годы. Здесь много лет жили писатель С. Н. Филиппов и доктор Добров, жили актеры-москвичи, словом, спокойные, небогатые люди, любившие уют и тишину.

Казаков жил у своего друга, тамбовского помещика Ознобишина, двоюродного брата Ильи Ознобишина, драматического писателя и прекрасного актера-любителя, остававшегося в этом номере во время своих приездов в Москву на зимний сезон.

Номер состоял из трех высоких комнат с большими окнами, выходящими на площадь. На полу лежал огромный мягкий ковер персидского рисунка, какие в те времена ткали крепостные искусницы. Вся мебель – красного дерева с бронзой, такие же трюмо в стиле рококо; стол красного дерева, с двумя башнями по сторонам, с разными ящиками и ящичками, а перед ним вольтеровское кресло. В простенке между окнами – драгоценные, инкрустированные «були» и огромные английские часы с басовым боем... На стенах – наверху портреты предков, а под ними акварели из охотничьей жизни, фотографии, и все – в рамках красного дерева... На камине дорогие бронзовые канделябры со свечами, а между ними часы – смесь фарфора и бронзы.

В спальне – огромная, тоже красного дерева кровать и над ней ковер с охотничьим рогом, арапниками, кинжалами и портретами борзых собак. Напротив – турецкий диван; над ним масляный портрет какой-то очень красивой амазонки и опять фотографии и гравюры. Рядом с портретом Александра II в серой визитке, с собакой у ног – фотография Герцена и Огарева, а по другую сторону – принцесса Дагмара с собачкой на руках и Гарибальди в круглой шапочке.

Это все, что осталось от огромного барского имения и что украшало жизнь одинокого старого барина, когда-то прожигателя жизни, приехавшего в Москву доживать в этом номере свои последние годы».

Актеры же прямо в «тамбовских» номерах тешили друг друга интермедиями:

– А мерзавец Прошка где?

– На нем черти воду возят...

– Ванька малый! Принеси-ка полуштоф водки алой!

– А где ее взять, барин?

– Ах ты, татарин! Возьми в поставе!

– Черт там про тебя ее поставил...

– А шампанское какое у нас есть?

– А которым ворота запирают!

– Что ты сказал? Плохо слышу!

– Что сказал – кобель языком слизал!

– Ванька малый, ты малый бывалый, нет ли для меня у тебя невесты на примете?

– Есть лучше всех на свете, красавица, полпуда навоза на ней таскается. Как поклонится – фунт отломится, как павой пройдет – два наростет... Одна нога хромая, на один глаз косая, малость конопатая, да зато бо-ога-атая!

– Ну, это не беда, давай ее сюда... А приданое какое?

– Имение большое, не виден конец, а посередке дворец – два кола вбито, бороной покрыто, добра полны амбары, заморские товары, чего-чего нет, харчей запасы невпроед: сорок кадушек соленых лягушек, сорок амбаров сухих тараканов, рогатой скотины – петух да курица, а медной посуды – крест да пуговица. А рожь какая – от колоса до колоса не слышать бабьего голоса!

– Ванька малый! А как из моей деревни пишут? Живут ли мои крепостные богато?

– Пишут, что чуть дышат, а живут страсть богато, гребут золото лопатой, а дерьмо языком, и ни рубах, ни порток ни на ком! Да вот еще вам бурмистр письмо привез...

– А где он, старый леший?

– Да уж на том свете смолу для господ кипятит! – слуга вынимает из опорка бумажку и подает барину.

– Ах ты, сукин сын! Почему подаешь барину письмо не на серебряном подносе?

– Да серебро-то у нас в забросе, подал бы на золотом блюде, да разбежались люди...

– «Батюшка барин сивый жеребец Михаиле Петрович помер шкуру вашу барскую содрали продали на вырученные деньги куплен прочный хомут для вашей милости на ярмарке свиной породы вашей милости было довольно». Ванька! Скот! Да это письмо старинное...

– Половину искурили – было длинное...

– Тогда был у меня на дворце герб, в золотом поле голубой щит...

– А теперь у вас, барин, в чистом поле вот что!

И показывал барину смачный кукиш.

* * *

Наступила революция – и привычной, вечной, как казалось, респектабельности и уюта словно не бывало. В доме разместились ВЧК – зловещая организация. Самого дома показалось мало, образовался целый комплекс. Михаил Осоргин писал, ужасаясь: «При правде... лубян-

ской – стали пускать по городу с вещами, ликвидировать, ставить к стенке и иными способами выводить в расход. И новые завелись в Москве места: Петровский парк, подвалы Лубянки, общество «Якорь», гараж в Варсонофьевском – и где доведется...

Раньше тут жили люди коммерческие и преобладали восьмипроцентные и десятипроцентные интересы. Восемь и десять – огромная разница: восемь – обычное благополучие, десять – относительное богатство. Но все это ушло. Новые люди, далеко не заглядывая, знали твердо, что жизнь – только сегодня, что даже и сто процентов – пустяк, что либо весь мир, либо завтра же позорный конец.

Новые люди чуждались веры – или им так казалось. Несомненно – им так казалось. Вера была, и вера наивная: вера в сокрушающую власть браунинга, нагана и кольта, во власть быстрого действия. Откуда было им знать, что трава растет по своим несокрушимым законам, что мысль человека не гнется вместе с шеей человека, что пуля не пробивает ни веры, ни неверия.

Огромный двор, старые здания, на входных дверях наклеены бумажки с деловым приказом. Здесь царит власть силы и прямого действия. Улица, смиренные обыватели приходят сюда с трепетом, просят – заикаясь, уходят – плача, хитрят прозрачно. Сила же застегнута на все крючки военной шинели и кожаной куртки.

От входа налево, через два двора, поворот к узкому входу, и дальше бывший торговый склад, сейчас – яма, подвальное светлое помещение, еще вчера пахнувшее торговыми книгами, свежей прелостью товарных образцов, сейчас – знаменитый Корабль смерти. Пол выложен изразцовыми плитками.

При входе – балкон, где стоит стража, молодые красноармейцы, перечисленные в отряд особого назначения, безусые, незнающие, зараженные военной дисциплиной и страхом наказания. Балкон окружает «яму», куда спуск по витой лестнице и где семьдесят человек, в лежку, на нарах, на полу, на полированном большом столе, а двое и внутри стола, – ждут своей участи.

Пристроили из свежих досок две каморки с окошечком в дверях, – для обреченных. Маленький муравейник для праздных муравьев.

На стенах каморок карандашные надписи смертников:

Моя жизнь была Каротенькая
Загубила мая молодость
И безвинно в расход
Пращай мая весна!

И могила нарисована – высокий бугор; и череп нарисован, веселый, похожий на лицо, под черепом кости, под крестом костей – имя и фамилия. Хочется юному бандиту с жизнью расстаться красиво, чтобы осталась по нем память, – как написано в тех тоненьких книжках, что продавались у Ильинских ворот: «Знаменитый бандит и разбойник, пресловутый налетчик Иван Казаринов, по прозвищу Ванька Огонек».

А рядом, в общей камере Корабля, – мелочь: каэры, эсеры, меньшевик со скудной бородкой, в очках, гнилозубый, трус, без огня и продерзости – человеческая тля.

На балкон выходит рыболов, затянутый кожаным поясом, комиссар смерти Иванов, а с ним исполнитель, приземистый, прочный, с беспокойным бегающим глазом, всегда под легкими парами, страшный и тяжелый человек – Завалишин, тот, который провожает на иной свет молодую разбойную душу.

На нарах, обсыпанный нафталином, с книжечкой в руках, бывший царский министр, с ровной седой бородой, человек привыкший, привезенный из Петербурга. Рядом – из меньшевиков, спорщик пишет заявления, ядовит, каждому следователю норовит задать вопрос с загвоздкой. Еще рядом – спекулянт, продал партию сапожной кожи – да попался. И еще рядом

сидит на нарах, свесив ноги, бедный Степа, из бандитов, еще не опознанный. Но из той же славной компании и комиссар Иванов: сразу признал своего.

– Здравствуй, Степа. Куда едешь?

– Должно – в Могилевскую губернию.

А сам бледный, давят на плечи осьмнадцать лет и жизнь кокаинная.

И скоро уведут Степу в особую камеру. Прощай, Степа, бедный мальчик, папин-мамин беспутный сынок!

Пьяными глазами смотрит в яму Завалишин, исполнитель, служака на поштучной плате и на повышенном пайке. Кровь в глазах Завалишина. Перед ночью пьет Завалишин и готов всех угостить, – да не все охотно делят с ним компанию. Страшен им Завалишин: все-таки – беспардонный палач, мать родную – и ту выведет в расход по приказу и за бутылку довоенного. Бородка ключьями и смутен взгляд опухших глаз, затуманенных денатуратом.

А через дорогу, через Фуркасовский переулочек – самое главное, где вся борьба, – Особый отдел Всероссийской Чеки. Здесь порядок, все и вся ходят по струнке, нет ни поэзии, ни беспредметной тревоги. Здесь надо всем навис и царит и неслышно командует умный и тяжелый гений борьбы и возмездия, хмурый и высокий товарищ старого призыва, по горло вкусивший царской каторги, идеалист, бессребреник, недоступный для всякого, народный мститель, всю кровь на себя принявший, – имя которого да забудут потомки.

Прямо с площади, высадив из автомобиля, вводят в двери новую жертву – врага народа и революции. В малой канцелярии анкета, затем на короткое время в малую камеру с нарами, пересчет в большую – с клопами, во всем известную контору Аванесова, а после, по особой записке, прямо через двор, в старый дом, отделанный под тюрьму, по типу царскому, в страшное молчаливое здание Особого отдела, откуда длинные коридоры, колодные, пустые, зигзагами ведут в кабинеты следователей.

Здесь вершится пятая правда московская – Лубянская Правда».

Казалось, никогда такое не наступит. Но, однако ж, наступило. От тюрьмы да от сумы не зарекайся. И от того, что пострашнее – тоже.

* * *

Попав в эту тюрьму, человек переставал принадлежать себе. Такое в той или иной степени происходит во всех тюрьмах мира. Но здесь присутствовал еще и элемент некоего «творчества», циничного, таинственного, наводящего на тяжкие раздумья. Сергей Трубецкой вспоминал: «При обыске у меня отобрали все книги, часы, вилку, иглу и даже английскую булавку: все «колющие и режущие предметы», как говорилось в «Правилах». Потом я узнал, что у многих заключенных (особенно у духовенства) отбирали нательные иконки и кресты. Впоследствии митрополит Кирилл Казанский рассказывал мне, как обыскивавший его в ЧК латыш отобрал у него деревянную панагию и деревянный же крест, при этом сентенциозно заметив: «Крест у вас в сердце должен быть, а не на груди». Мне же был тогда оставлен золотой крестильный крест, на золотой же цепочке... Не знаю, чему это приписать, во всяком случае, не забывчивости, так как начальник тюрьмы внимательно посмотрел на мой крест и даже почему-то потрогал его пальцем.

После обыска я был отведен в камеру, где находился еще один заключенный – поляк из немецкой Польши.

В этой камере я пробыл только один день. Тут я впервые познакомился с чекистскими койками – деревянными щитами, сколоченными из нескольких досок с просветами между ними. Щиты эти клались на две деревянные стойки. Полагались нам и матрасы – мешки, сшитые из остатков всяких материй и когда-то набитые соломой. Однако давно уже эта солома превратилась в труху. В сущности, приходилось спать на мешке, набитом приблизительно на треть или четверть его вместимости грязной пылью. Но и такой «матрас» я получил не сразу, а только

через 6—7 дней. При этом матрас мне попался удивительно короткий, даже не на маленького человека, а на ребенка: когда я лежал на нем, он хватал мне только от плеча до кости бедра, так что голова и вся длина ног приходилась уже вне матраса. Впрочем, для головы у меня была взята с собой маленькая подушка-думка, а ноги не так уж нуждались в матрасе. Только много позднее, через два-три месяца, я получил матрас почти по моему росту, вне его оставались только голова и ступни ног. Приятно было то, что в тюрьме ВЧК, в отличие от того, что я испытывал потом в других тюрьмах, матрас мой не был испещрен кровавыми пятнами от раздавленных клопов».

Трубецкой описывал и рацион лубянских арестантов первых лет советской власти: «Кормили нас во Внутренней тюрьме следующим образом. Утром давали «кофе», то есть еле окрашенную в кофейный цвет тепловатую воду. Часто вода была вовсе не окрашена, почему «кофе» было скоро даже официально переименовано в «кипяток». Но и «кипятком» эту жидкость, судя по ее температуре, назвать было трудно. Кипела ли эта вода до ее охлаждения, я сказать не могу. Несколько позднее «кипятка» нам приносили «хлебный паек» (или просто – «пайку»). Нам давали от 1/4 до 1/2 русского фунта хлеба в день, то есть от 100 до 200 грамм. Хлеб был, понятно, черный и выпечен с большой прибавкой каких-то суррогатов, придававших ему странный вкус. Однажды, слегка нажав на особенно сырой ломоть хлеба, я выдавил из него какую-то противную синевато-зеленую слизь... Но при настоящем голоде – чего не съешь...

Около полудня (часов у нас не было) нам давали обед: суп и кашу. Супом называлась грязная серая водичка, обыкновенно наваренная на небольшом количестве сильно мороженных картофелин. Часто картофелины в супе бывали настолько черные и сладковато-гнилые, что раньше, безо всякого преувеличения, их бы и скоту не дали. Я прекрасно помню, как у нас в Бегичеве выбрасывали такой «вредный для скота» картофель. Тут же он не только съедался заключенными без малейшего остатка, но как хотелось бы получить его еще и еще! Стоит ли говорить, что картофель был очень плохо промыт, отчего в жестянках и часто ржавых мисках оставался слой земли. Иногда нам давали «рыбный суп», но в таком случае мы получали, обычно, только скелеты мелких рыбок, саму же рыбу съедала стража, бросая рыбы кости к нам в суп. Нельзя сказать, чтобы это было очень аппетитно, но что поделаешь?..

Каша, которую нам давали, была пшенная, очень плохо промытая и очищенная (часто попадались кусочки щебня и т. п.), но в общем, по тому времени, недурная. Плохо было то, что нам выдавали ее только по одной небольшой ложке, то есть примерно треть или четверть порции, которую можно было бы назвать нормальной для человека.

На ужин (часов в 6—7 вечера) нам снова выдавалась миска того же супа, что и за обедом. Часто суп этот бывал еще жиже от щедро прибавленной к нему воды. Каши на ужин не полагалось.

По воскресеньям и праздничным дням (всякого рода революционные праздники, вроде Дня Парижской коммуны) ужина заключенным вовсе не полагалось: в эти дни должен был отдыхать кухонный персонал. Правда, в эти дни за обедом мы получали немного больше супа (но не каши), чем обычно, но оставить его на вечер даже в холодном виде было нельзя, так как миски у нас после обеда отбирались».

А это уже об организации тюремного пространства: «Особенно голодно было на этом пищевом режиме во время холодов в нетопленных камерах. Во Внутренней тюрьме не все камеры отапливались. В отапливаемой камере, куда меня первоначально поместили, я оставался всего один день, на следующее же утро, после ночного допроса, меня перевели в другую.

Камеры во Внутренней тюрьме были очень разные: тюрьма эта была устроена из какой-то третьеклассной гостиницы, но размеры камер были далеко не одинаковы. В нормальные, не тюремные, окна были изнутри вделаны решетки, а стекла густо замазаны серовато-белой краской. Поэтому в камерах было темновато. Еще гораздо темнее сделалось в них потом, когда на окна были наставлены снаружи жестяные щиты-ящики, окрашенные в серый цвет. Свет

и воздух могли проникать в камеры только через небольшой продух вверху между щитом и окном; внизу и по бокам просвета не было. Кроме того, сами окна, из-за нелепо вставленных решеток, почти не открывались: можно было лишь чуть-чуть приоткрывать их. Из-за этого, особенно после устройства щитов, в камерах бывало очень душно, а летом в переполненных камерах заключенные подчас просто задыхались. Мне говорили, что людей иногда вытаскивали из камер в полубессознательном состоянии. Сам я этого не видел, но, зная положение, охотно верю».

* * *

Можно сказать, Трубецкому еще повезло. Александра Толстая, дочь Льва Николаевича, так описывала свою первую ночь в этом здании: «Меня привели в камеру около двух часов ночи. Мучила жажда.

– Товарищ! Дайте воды, пожалуйста, – попросила я надзирателя.

– Не полагается.

Дверь захлопнулась, щелкнул замок. Камера маленькая, узкая. Я едва успела постелить постель, как электричество погасло.

Когда я была моложе, у меня было счастливое свойство. После несчастий, сильных волнений наступала реакция, и я могла заснуть немедленно, лежа, сидя, а когда была на войне, ухитрялась спать даже верхом на лошади. Накануне я совсем не спала, глаза слипались. Я легла на койку, закрыла глаза, но тотчас же вскочила, в батареях что-то зашуршало. Я замерла. Шорох повторился, зашуршало по стене и мягко шлепнулось на пол, один раз, другой, третий... «Крысы!» Я постучала о край койки. Шум прекратился, но через несколько секунд возобновился, послышался топот. Животные пищали, догоняли друг друга, казалось, вся камера полна крысами,

«Только бы на койку не влезли, – подумала я, и в ту же минуту почувствовала, как крыса карабкается по пледу. Я в ужасе дернула конец, животное оборвалось и шлепнулось на пол. Я подоткнула плед так, чтобы он не висел, но крысы карабкались по стене, по ножкам табуретки, бегали по подоконнику. Я нащупала табуретку, схватила ее и вне себя от ужаса махала ею в темноте.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.